

В.Н. Сыров

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ ПАМЯТИ В СЕТЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-011-00658 «Травмы исторической памяти в сетевом обществе: медиарепрезентации, социальные риски и стратегии дентравматизации».

Предпринят анализ ключевых тем и проблем, основных подходов, сложившихся в отечественной и зарубежной литературе в изучении специфики формирования и функционирования памяти в сетях. Отмечена двойственность интереса к теме памяти. Показано, что, с одной стороны, сетевое пространство открывает новые перспективы для процесса «демократизации» в создании и распространении представлений о прошлом. С другой стороны, подчеркнуты негативные стороны «бума» памяти, связываемые исследователями с ростом амнезии и процессом деформации памяти.

Ключевые слова: память; «бум» памяти; постпамять; протезная память; дигитализация; конективный поворот; сетевое пространство.

Вопрос об особенностях формирования, распространения и трансляции знаний о прошлом в сетевом пространстве приобрел большую популярность в современной исследовательской литературе. Исследователи в один голос утверждают, что память «сегодня концептуализируется как нечто, что не стоит на месте, но циркулирует, мигрирует, путешествует; такое состояние все более и более воспринимается как процесс, как постоянно выполняемая работа, а не как овеществленный объект» [1. Р. 1]. Поэтому в статье предполагается выявить ключевые темы и проблемы в этой исследовательской сфере, осуществить анализ основных подходов, сложившихся в отечественной и зарубежной литературе в изучении специфики формирования и функционирования памяти в сетях, и очертить возможные перспективы подобного рода исследований.

Предварительно стоит отметить, что данная тема оказывается на стыке как минимум трех весьма популярных областей исследовательской деятельности. Прежде всего, это конечно, тема памяти. Во-вторых, это тема места, роли и специфики функционирования сетевых сообществ. В-третьих, вопрос об особенностях и роли современных медиа в производстве и функционировании распространяемой информации. Такое пересечение требует определенного ограничения сферы интересов. Ключевым ограничением будет определенная трактовка сетевых сообществ или сетевого пространства. С одной стороны, мы будем исходить из их зауженной трактовки, а именно в отличие от тезиса Бруно Латура о том, что сеть – это не просто всемирная паутина (интернет) [2. С. 200], мы будем говорить именно о данном типе социальных сетей, что, собственно, явно утверждается или неявно подразумевается в большинстве работ, посвященных этой тематике. С другой стороны, мы будем сохранять его методологическую установку в трактовке места и роли социальных сетей, что сеть – это не просто инструмент в передаче информации. Также мы не будем специально останавливаться на различиях между индивидуальной и коллективной памятью. Ну и, конечно, мы будем говорить о так называемой медиазараженной памяти,

подразумеваемая под медиа не СМИ, а скорее современные технологии, которые принято трактовать как посредники в процессе коммуникации.

Как отметил немецкий исследователь Андреас Хюссен, «одним из самых впечатляющих культурных и политических явлений последних лет было превращение памяти в ключевую тему в западных обществах или поворот к прошлому, который резко контрастирует с привилегированным отношением к будущему, столь характерному для первых десятилетий двадцатого века» [3. Р. 21]. Мир стал музеефицированным, и такая музеефикация уже не привязана, собственно, к музею как культурному институту [3. Р. 32].

Автор считает возможным говорить о «буме» памяти, «одержимости» прошлым. Он довольно скрупулезно описывает всю совокупность социальных или политических обстоятельств XX в., активизировавших интерес к памяти в современном мире в целом. Но он же вполне резонно ставит вопрос о том, если что-то еще в этом навязчивом желании перенести все это разное прошлое в современность [3. Р. 25]. Иначе говоря, достаточно ли объяснять потребность в актуализации роли памяти особенностями социально-политических процессов, связанных со Второй мировой войной (Холокост) и ее последствиями, процессами деколонизации, падением тоталитарных режимов, геноцидом и прочими драматическими и даже травматическими событиями?

Ключевой тезис автора заключается в утверждении, что «обращение к памяти на подсознательном уровне подпитывается желанием закрепить себя в мире, характеризующемся растущей нестабильностью времени и дроблением обжитого пространства [3. Р. 27]. Можно говорить о двусмысленности или амбивалентности эффектов, производимых этой динамикой. Пока сохранялась перспектива позитивного и определенного будущего, прошлое более трактовалось как предрассудок или совокупность избыточных воспоминаний. Поэтому амнезия или забвение становились и воспринимались вполне оправданной стратегией отношения к прошлому. Однако постоянно увеличивающаяся скорость технических, научных и куль-

турных инноваций приводит к все большему количеству и быстрой степени устаревания всего и вся, эффективно сокращая хронологическое пространство того, что может быть. Но чем более размывалась определенность будущего, тем более сильным становилось ощущение нестабильности, хаотичности и бессмысленности изменений. Автор приводит в качестве примера позицию известного немецкого философа Генриха Люббе, что модернизация сопровождалась отмиранием значимых традиций, утратой рациональности и энтропией стабильного и непрерывного жизненного опыта. Поэтому, по мнению Люббе, музеефикация становится способом приостановки амнезии, одним из условий сохранения ощущения стабильности и фактором, обеспечивающим устойчивость идентичности. Как следствие, музеефикация превращается своеобразный принцип организации повседневной жизни [3. Р. 32].

Однако Хюссен вполне справедливо замечает, что для выявления современной специфики трансформации отношений между памятью и забвением следует учитывать то воздействие, которое начинают оказывать на них новые информационные технологии, медиаполитика и ускоряющееся потребление [3. Р. 27]. Суть в том, что логика потребления ведет к ускорению устареваемости предлагаемых для потребления объектов. Иначе говоря, вещи должны быстро сменять друг друга. Если это так, то степень дестабилизации настоящего должна возрастать, а темпы и масштабы амнезии усиливаться. Однако ориентация на потребление предполагает поиск новых объектов для реализации потребительских стратегий. Прошлое вполне может выступить таким объектом. Поэтому «бум» памяти может быть связан с растущим спросом на прошлое. Ну или, по крайней мере, стимулированная масштабами амнезии ностальгия вполне может выступить толчком для превращения прошлого в предмет популярного, а потому растущего спроса. Вот почему Хюссен отмечает недостаток теории Люббе: она не учитывает, что «сама по себе музеефикация втягивается в этот водоворот все более ускоряющейся циркуляции образов, зрелищ, событий и, таким образом, рискует навсегда утратить свою способность гарантировать культурную стабильность с течением времени» [3. Р. 34].

Иначе говоря, вовлечение прошлого в сферу потребительского интереса, с одной стороны, расширяет масштабы самого прошлого как объекта интереса (так любое мало-мальски старое здание получает свою историю), а стремление использовать прошлое как гарант возрождения стабильности продолжает подпитывать интерес к нему. Недаром автор задает вопрос, почему так долго сохраняется интерес к данному объекту [3. Р. 30]? С другой стороны, критерием выбора объектов прошлого становится не стремление дать слово подавленным голосам для восстановления справедливости, а, так скажем, «продаваемость» объекта. Недаром Хюссен констатирует, что память – это не заместитель справедливости. Соответственно, он отмечает, что в сложившейся ситуации «бума» прошлого мы в принципе должны быть открыты многим различным возможностям репрезентации прошлого и памяти о нем [3. Р. 29]. Это означает, что следует быть готовым к

тому, что востребоваться будут самые различные версии вплоть до производства вымышленного прошлого. И дело здесь не в борьбе истины или лжи (или мифа), а в том, что основание для такой востребованности лежит совсем в иной сфере.

Хюссен отмечает, что «в случае лучшего сценария культуры памяти во многих частях мира тесно связаны с процессами демократизации и борьбы за права человека, с расширением и укреплением публичных сфер гражданского общества» [3. Р. 36]. Но, как подчеркивает автор, глобальное распространение дискурсов памяти указывает на то, что на карту поставлено нечто большее [3. Р. 35]. Даже там, где практики памяти имеют очень четкую политическую направленность, например, в Южной Африке, Аргентине, Чили и совсем недавно в Гватемале, они затронуты и в некоторой степени даже созданы формами освещения в международных СМИ и их одержимостью памятью [3. Р. 37]. Иначе говоря, глобализация расширяет процесс амнезии, поэтому в общий хор дискурсов памяти вливаются новые голоса. Но то, о чем они говорят, отклоняется от прогрессивных ожиданий.

Как видим, размышления немецкого исследователя о причинах интереса к памяти дают не только ответ на вопрос: почему память и почему она оказывается столь востребованной. Они также не просто указывают на необходимость осознания многих причин интереса к ней, а дают ответ на вопрос: какая память востребуется. А это влечет за собой следующий вопрос, что с этим делать.

Итак, речь идет о «буме» памяти. Помимо прочего, стоит отметить специфику столь повышенного интереса к памяти, которая заключается в том, что он реализуется в совершенно новой среде, а именно в сетевом пространстве, причем пространстве, созданном, трансформированном или дополненном цифровыми технологиями и реализуемом на цифровых платформах (виртуальном пространстве, цифровой среде, Интернет). Встает резонный вопрос, приобретает ли в результате память какие-то новые черты, а в более категоричном виде, что с ней вообще происходит в этой среде.

Прежде всего, начать следует с констатации факта, что современные цифровые технологии позволяют создавать, обрабатывать, хранить и распространять информацию в исторически беспрецедентных масштабах [4. Р. 55]. Более радикальное утверждение заключается в том, что «Интернет – это технология, которая делает очевидной нашу неспособность охватить все, потому что это первая среда, которая на самом деле больше, чем мы» [5. Р. 3]. Недаром этот же автор характеризует данное положение дел как «постдефицитную культуру» [5. Р. 3]. Помимо переизбытка информации постдефицитность проявляется в том, что доступ к ней получает огромное количество людей с самыми разнообразными ценностями, интересами, запросами и ожиданиями. При этом пространство памяти (в виде своеобразного оцифрованного или созданного в цифре архива) оказывается заполненным не просто разнообразными версиями исторического (коллективного) прошлого, но и собственно приватным прошлым, которое,

возможно, никогда не станет историческим. Как минимум такое положение дел означает, что потребитель может не пользоваться институализированным архивом, но не потому, что имеет альтернативные источники информации, а потому что интересуется приватным прошлым. Соответственно, все эти создаваемые или потребляемые конфигурации памяти могут вообще не иметь точек соприкосновения. Такая ситуация ставит резонный вопрос: достаточно ли говорить о простом количественном расширении тех черт памяти и способов ее использования, что и так имели место до этого, или следует руководствоваться знаменитым тезисом Маршалла Маклюэна, что средство само является сообщением и потому приводит к радикальному изменению структуры и содержания памяти.

Второй аспект связи памяти и сетевой среды связан со столь же беспрецедентными масштабами использования (или, лучше сказать, работы) памяти, которые можно обозначить термином «приватизация». Что можно под этим понимать? Прежде всего, индивид получает возможность не просто более-менее свободного доступа к многообразной и разнообразной исторической информации, которой он может распоряжаться по своему усмотрению. Он может эксплицитировать и свой собственный исторический опыт либо в виде трансляции семейных архивов и воспоминаний, либо путем артикуляции собственных впечатлений и переживаний от прошлого (так называемый живой опыт). Он может сделать публичным свой собственный приватный опыт, значимый лично для него или разделяемый им с локальной группой (одноклассников к примеру). Далее, речь может идти не только о доступе к информации и возможности ее публично артикулировать. Приватизация подразумевает также возможность персональной интерпретации материала путем его селекции в соответствии с собственными критериями либо посредством сопровождения собственными комментариями. Наконец, приватизация предполагает возможность создания собственных конфигураций приватного и публичного прошлого. Такая трактовка вполне согласуется с латуровским подходом к истолкованию места и роли сети. Источником создания нового содержания при этом может служить не только легитимизированное коллективное прошлое (история страны), но и собственные продукты деятельности других пользователей сети. Недаром многие исследователи отмечают стирание граней между потребителем и производителем контента, что находит выражение в создании и популяризации термина «просьюмер», характеризующего производителя и потребителя одновременно. Можно тем самым говорить о многонаправленной памяти и ее децентрализации, обусловленной децентрализацией культуры или ее всевозрастающей полистилическостью.

Наконец, стоит отметить специфический характер новой сетевой среды. Современные авторы постоянно говорят об изобилии, вездесущности и оперативности цифровых медиа. При этом институализированные формы таких медиа дополняются, смещаются и зачастую вынуждены конкурировать с информацией, производимой и распространяемой отдельными пользователями (пресловутыми просьюмерами). Более того,

контакты в сети и через сети становятся не дополнением к обычным формам социального взаимодействия, а способом конституирования социального бытия. Если пока не говорить о доминировании этих форм, то вполне резонно утверждать о переплетении виртуальных и традиционных форм взаимодействия.

Британский исследователь Эндрю Хоскинз даже вводит понятие коннективного поворота по аналогии с поворотами типа «коперниканского», «лингвистического», «нарративного», переворачивающими принципы функционирования современной культуры. [5. P. 1]. С некоторой долей критически настроенной категоричности автор характеризует его как возможность «делиться без сопричастности».

Это означает, что совокупность индивидов и групп реализует свою активность посредством комплекса взаимосвязанных практик, таких как публикации постов, создание ссылок, лайки, просмотры полученного материала, причем даже ощущают свою обязанность это делать. Но в таком обмене информацией, по мнению Хоскинза, нет ничего похожего на поступок, подкрепленный ценностями справедливости и бескорыстия. Скорее это вопрос негласного обязательства участвовать и отвечать взаимностью. [5. P. 2].

Эта мысль Хоскинза характеризует как минимум два аспекта, связанных с местом и функциями пользователя. Во-первых, участник такой коммуникации становится не столько создателем подобных практик, сколько следствием их создания, оказываясь лишь передаточным звеном потока информации. Во-вторых, обмен информацией становится не средством, а целью. В частности, как отмечают исследователи, пользователи зачастую более заинтересованы в том, чтобы заниматься «самобрендингом и накоплением социального капитала, а не самовыражением и общением как таковым» [1. P. 16].

Как правило, эта коннективная среда характеризуется как гибкая, индивидуализированная, децентрализованная [6. P. 80], многоуровневая, пористая и мобильная [7. P. 243]. Видимо, наиболее приемлемой метафорой для ее характеристики будет метафора непрерывного потока, но потока, который не постоянно и стабильно струится только в одном направлении, а представляет собой множество постоянно возникающих потоков, которые с разной силой и скоростью образуют самые разнообразные и взаимопроникающие конфигурации, движущиеся в самых разных направлениях. Бесспорно, что такая среда должна порождать новые форматы памяти. Глобализацию, видимо, можно считать их предельным воплощением. Для характеристики такого процесса английская исследовательница Анна Ридинг использует термин «глобитальная память», означающий синергетическую комбинацию с цифровой и политической динамики глобализации с дигитализацией применительно к памяти [7. P. 242]. При этом, как отмечает автор, глобализацию связывают не только с культурным империализмом и неоднозначной реакцией национальных государств на процессы преодоления пространства и времени, но и с характером потоков и сетей, а также с ролью и активностью публики в культурном производстве [7. P. 244]. Если это так, то последующие рассуждения автора о

новых свойствах памяти вполне могут быть применены к описанию новых форм коммуникации в целом, а не только к процессу глобализации.

Ридинг начинает свои рассуждения с показательного примера, а именно с убийства юной иранской женщины во время демонстрации протеста 22 июня 2007 г. Убийство было заснято ее другом на камеру телефона, потом видео по электронной почте отправлено еще одному другу в Нидерланды. На следующий день оно появилось на телевидении и в прессе в Британии, США и других странах. Изображение залитого кровью лица девушки было перекрашено, переконфигурировано и воссоздано в различных медиа-формах. Видео подтолкнуло к созданию ряда мемориальных сайтов, групп в Фейсбуке, страниц в Википедии, различных произведений искусства, посвященных ее жизни и смерти [7. Р. 241].

Описание трагичной ситуации становится для автора основанием для выделения шести черт глобальной памяти: трансмедиальность, скорость, широта распространения, модальность, валентность и вязкость (или тягучесть). Хотя уместнее, видимо, было бы говорить специфике черт передачи информации. Но в любом случае подчеркивается, что производство и распространение материала приобретают многоканальный характер (пресса, ТВ, видео, радио, интернет), может перетекать из одного канала в другой, особенно в случае блокады какого-либо из каналов. Скорость и масштабы распространения резко возрастают, что, в частности, характеризуют понятием «детерриториализации». Информация может передаваться посредством как личного непосредственного наблюдения и устного рассказа о событии, так и с помощью других средств фиксации информации (как правило, снимки с персонального смартфона, тут же передаваемые по сети). Материалы могут быть получены не только разными способами, но и потом воплощаться в разных форматах, вступать в самые разнообразные связи с другими объектами памяти, микшироваться с ними, порождая новые ассоциации, метафоры, образы, приобретая статус символов, мемов. Недаром Хюссен в качестве показательного примера отмечает, что в транснациональном движении дискурсов памяти Холокост утрачивает свое качество обозначения специфического исторического события и начинает функционировать как метафора для других травматических историй и событий [3. Р. 24]. Подобного рода продукты создаются в весьма разнообразных конфигурациях (сочетая материальные практики и дискурсивные формации), считаются более открытыми к изменениям и тем самым способными сопротивляться процессам детерриториализации [7. Р. 248–250]. В конечном счете, память, формируемая такого рода каналами, приобретает, как принято считать, текучий, открытый и процессуальный характер [1. Р. 6]. Но медиазараженная память в таких конфигурациях к тому же разрушает дистанцию с прошлым. Поэтому становятся понятными утверждения о возникновении своеобразного непочтительного отношения к прошлому.

К чему приводят и могут приводить вышеописанные процессы? Прежде всего, можно говорить о резком увеличении масштабов социального взаимодей-

ствия, а следовательно, о создании условий для появления новых форм коллективности и новых проектов коллективной идентичности, которые больше не базируются на таких традиционных факторах общей принадлежности, как язык, национальность, религия или территория [4. Р. 56]. Основанием для создания становится общность интересов, переживаний, судеб, отношений к тем или иным событиям, которая поддерживается постоянным обменом информацией и открытостью доступа к ее источникам и которые обеспечиваются цифровой средой. Турецкая исследовательница Дилек Ожан Коджак приводит примечательную мысль американского антрополога Арджуна Аппадурай, что традиционные социальные объединения строили свою общность на памяти, в то время как виртуальные сообщества создают общность памяти посредством коммуникации [4. Р. 59]. Хотя, правда, ряд авторов утверждают, что большинство социальных сетей в первую очередь направлены на поддержание ранее существовавших оффлайн социальных отношений [8. Р. 221].

Конечно, общность памяти еще не достаточна для формирования идентичности, но, тем не менее, можно утверждать, что цифровая среда открытостью и непрерывностью потоков информации предоставляет новые ресурсы для возникновения, закрепления и развития новых форм идентичности. Видимо, термин «транслокальные сообщества» стоит считать наиболее приемлемым для характеристики ее носителей, поскольку ни пространственные, ни временные границы уже не являются препятствием для их существования. Одним из условий, обеспечивающих стабилизацию общности воспоминаний и выступающим, кстати, одним из факторов создания транслокальных сообществ, можно считать виртуальные места памяти. Как отмечает Дилек Ожан Коджак, помимо их функции как средств передачи и создания пространства коммуникации между членами транслокальных сообществ, обеспечения хранения мультимедийных файлов, мест записи и сохранения субъективных повествований для их последующего вклада в общую социальную историю, интернет-платформы также играют все более важную роль памятных мест, дополняющих и / или заменяющих традиционные «места памяти» в физическом пространстве [4. Р. 59–60].

Кроме того, по той же причине можно согласиться с утверждением, неоднократно проговоренным в исследовательской литературе, что данная цифровая среда создает относительно благоприятные условия для сопротивления государственному и групповому контролю над отбором, конфигурацией и распространением знания о прошлом. Недаром отмечается, что исследователи и сторонники коннективного поворота, в том числе и в памяти, отмечают перспективы создаваемых дискурсов памяти для глобализации режимов (механизмов и институтов) защиты человеческих прав и отдают предпочтение компаративной, а не конкурирующей интерпретации прошлого [1. Р. 5]. Данный подход вполне соответствует трактовкам значения новых дискурсов памяти как экспликации подавленных голосов. Примером реализации такого положения дел можно считать участие обычных граждан в распро-

странении и концентрации альтернативных нарративов и воспоминаний о прошлом против официальной версии «Великого голода» в период с 1959 по 1961 г. в КНР, долгое время остававшегося политическим табу. Дебаты разгорелись на одном из наиболее популярных сайтов Sina Weibo, и, как отмечают авторы, сайт стал сферой, которая, с одной стороны, обеспечила своим пользователям возможность участия в обсуждении этого памятного события и тем самым актуализировала его значимость, а с другой стороны, создала возможность поделиться своими травматическими воспоминаниями и опытом, выстроив основания для обобщения и объединения коллективных воспоминаний [9. Р. 48].

Еще одна примечательная черта формирования новой памяти, если не созданная новыми медиа и социальными сетями, то, по крайней мере, усиленная ими, получила название «постпамять», или «протезная память». В 1992 г. американской исследовательницей Марианной Хирш был введен термин «постпамять», призванный описать отношение детей к травматическому опыту их родителей, переживших Холокост, который был передан им в детстве через рассказы, образы и поведение настолько мощно, что создавал впечатление, что они сами по себе составляют воспоминания. Хирш подчеркивала специфичность такой памяти, как созданной не воспоминанием, а воображением [1. Р. 9]. Оппоненты возражали, что в данном случае источником травмы выступает не само событие, а рассказы о нем, и что постпамять, таким образом, фундаментально отлична от памяти. Но, тем не менее, возражения не воспрепятствовали расширению сферы применения идеи такого травматического трансфера не только за пределы отношений родителей и детей, но и исходного объекта осмысления [1. Р. 10–11].

Хирш вполне правомерно указывала, что место для идентификации себя с субъектом травмы теоретически может быть занято любым читателем или зрителем [1. Р. 11]. Подобного рода идентификация становится возможной посредством медиа через сопереживание страданиям, показанным, озвученным в тексте или на экране. Принято называть такое положение дел вторичной травматизацией, когда источником травмы становится не, так сказать, первоначальное событие, а его медиарепрезентации и интерпретации. Как отмечает израильский автор Амит Пинчевски, в таком контексте «видео свидетельства становятся нестандартным архивным материалом, с которым каждый должен индивидуально соприкоснуться и который должен формировать коллективную сопричастность» [10. Р. 262]. Конечно, травматический опыт, как принято отмечать в литературе, представляет собой скорее разрыв в воспоминаниях, а нарративизация и историзация такого прошлого предстают одними из способов проработки травмы. В любом случае травма может выступать мощным толчком к работе и переформатированию памяти.

Такая роль медиазараженного материала подталкивает исследователей к расширению или трансформациям трактовки памяти. Как отмечает американская исследовательница Элисон Ландсберг, хотя превращение памяти в товар для реализации через различные медиаканалы более благоприятствует приватизации

желаний, чем общественной пользе, можно представить себе отношение к памяти, которое благоприятствует, а не препятствует формированию прогрессивных политических альянсов и форм солидарности [11. Р. 145]. Это возможно благодаря эмпатии, которая может порождаться и усиливаться медиаканалами. Как правило, недавнее или удаленное прошлое становится приоритетным объектом формирования сопереживания, поэтому «такая память преодолевает временную пропасть, отделяющую индивидов от событий прошлого, наполненных смыслом и потенциально значимых для отклика на них» [11. Р. 148]. Память, которая формируется и заполняется такими событиями, Ландсберг называет протезной памятью.

Протезная память, по его мнению, не является памятью в обычном смысле слова. В виде совокупности событий, с которыми индивид непосредственно сталкивался, она отсутствует в его личном опыте. Например, массовое уничтожение армянского населения на территории Османской империи в 1915 г. скорее всего никак не связано с жизнью индивидов, живущих в другом месте и в другое время, но через медиарепрезентации может стать мощным источником эмпатии для них. Такая память также не относится к коллективной памяти той или иной общности, если ее связывать с памятью о совокупности событий, с которыми так или иначе группа сталкивалась и потому считает их значимыми. С этой точки зрения, протезная память не может быть приватизирована и, более того, становится принципиально открытой для ее включения в состав опыта любой общности.

Оппоненты, возможно, могли бы возразить, что характеристики протезной памяти более описывают знание, а не память. В данном случае, видимо, стоит согласиться с утверждениями Дарьи Хлевнюк, что «историческое знание – это факты, полученные в результате научного исследования, обычно профессиональными историками. Коллективная память – это набор нарративов, многие из которых мифологичны; практик коммеморации и материальных и нематериальных объектов, связанных с этими нарративами. Коллективная память производится акторами памяти, которые могут быть профессиональными историками, а могут не быть, могут иметь историческое образование, а могут не иметь» [12. С. 73]. Поэтому о знании можно говорить в том случае, если продукция создана профессиональным сообществом или с намерением (имплицитным или эксплицитным), произвести или потребить информацию, полученную и организованную в соответствии с определенными правилами. Но уже такой подход делает трудно различимыми суждения о том, что человек знает и что он помнит, особенно если доминирующей в содержании современной памяти так или иначе становится информация, по происхождению созданная профессиональным сообществом, хотя и доставшаяся потребителю весьма опосредованно. По сути, единственными критериями различия между ними становятся способ и цель получения (потребителем). В описываемых автором ситуациях речь идет скорее о формировании эмоционального

отношения, хотя источником могут быть видеосвидетельства в виде воспоминаний очевидцев, фотографии и т.д., что обычно самими историками трактуется именно как источники.

Следующий аспект возможных возражений связан с идеей протезности. Можно было бы упрекнуть Ландсберг, что оценка памяти как протезной обусловлена определенной точкой отсчета, а именно этноцентристской версией памяти, связанной с формированием национальной идентичности, а потому с приданием значимости общности территории, языка и т.д. Но уже на стадии формирования такой идентичности можно утверждать об имплантации в память индивида событий, никак не связанных с его персональным опытом. Если говорить о коллективной памяти, то на этапе формирования национальных государств в память сообществ, из которых они создавались, также имплантировались события прошлого, никак не связанные с их коллективным опытом. Поэтому, даже если не вставать на радикально конструктивистские позиции, правомерно отрицать существование объектов в виде событий, которые можно было бы трактовать как естественные и соответствующие самой природе вещей условия формирования идентичности, а все остальное – как искусственный, хотя и необходимый, протез. Поэтому «протезность» лучше трактовать как полезную метафору, которая привлекает внимание к роли и значению новых форм идентичности, которые кажутся неестественными лишь на фоне забвения искусственности национальной идентичности.

Как правило, это память о травматическом опыте (хотя может быть и память об успехах). Ее значение, прежде всего, в формировании сострадания и солидарности (говоря иначе, морального отношения) как тех качеств, которые видятся наиболее значимыми для становления идентичности в эпоху глобализации. По этим причинам автор считает правомерным использовать понятие именно протезной памяти [11. Р. 149]. Кроме того, поскольку Ландсберг пишет о протезной памяти в контексте потребительски ориентированной массовой или популярной культуры, то транслируемую или даже создаваемую различными медиа каналами и социальными сетями такую память следует считать наиболее распространяемым, а потому наиболее доступным и приемлемым для широкого потребителя источником формирования его представлений и ценностных ориентиров [11. Р. 150]. Более того, автор полагает, что именно интернет открывает новые возможности для роли протезной памяти, когда сострадание и солидарность, порождаемые такой памятью, становятся не дополнением к факторам создания общности, а решающим условием для ее формирования [11. Р. 158]. Потому Ландсберг призывает не презирать или отталкивать современные технологии и производимые ими формы жизни, а продуктивно использовать их потенциал.

Тезис Ландсберг можно считать хорошим основанием вернуться к началу предпринятого анализа, а именно к характеристике условий столь высокого интереса к памяти. Приведенные рассуждения Хюссена и Хоскинза показывают, что последствия такого бума весьма неоднозначны. Конечно, современные каналы

создания социальных сетей обеспечили невиданный рост социального взаимодействия, предоставив возможность зазвучать множеству самых разнообразных, зачастую подавляемых голосов и ограничив способы официального контроля над этим многоголосьем. Прогрессивные и оптимистично настроенные авторы склонны трактовать такое положение дел как процесс демократизации.

Во-первых, стоит отметить, что открытость обеспечила также возможность звучать тем голосам, которые вряд ли можно связать с демократическими тенденциями.

Во-вторых, Хюссен и многие другие авторы справедливо связывают возросший интерес к прошлому с ростом неопределенности и дестабилизации ожидаемого будущего или отсутствием продуктивных будущностно-ориентированных перспектив. Очевидно, что данный контекст будет задавать весьма определенные контуры прошлого, а именно ностальгическое и тем самым мифологизированное отношение к нему. Такое отношение будет блокировать или препятствовать столь распространенным и несомненно необходимым попыткам реализации этики и политики сожаления.

В-третьих, тот же Хюссен, как и другие авторы, указывает на роль потребительского контекста, в котором реализуется интерес к памяти. Но такое положение дел означает, что для потребителя прошлое становится лишь одним из видов товара, который стоит потреблять просто потому, чтобы быть современным. Резонно полагать, что изменение потребительских приоритетов будет способствовать охлаждению интереса и снижению бума.

В-четвертых, как подчеркивает Хоскинз, стоит учитывать характер функционирования коммуникации, обеспечиваемой интернет-платформами. Даже если не учитывать тот же коммерческий интерес, который приводит к тому, что эти платформы уже не просто обеспечивают связь между пользователями, а создают и эксплуатируют ее (в частности посредством распространения соответствующего контента), то стоит учитывать изменение статуса и смысла информации, которой пользователи обмениваются. Из цели она превращается лишь в средство оставаться, как говорится, в тренде. Поэтому прошлое также становится просто одним из видов транслируемого контента и одним из инструментов повышения статуса пользователя.

В-пятых, стоит иметь в виду, что в это многоголосье, включается еще один весьма специфический вид голосов. Когда-то Болингброк назвал этот тип антикварами. Это искренние любители прошлого, пытливые собиратели и коллекционеры, специализирующиеся на скрупулезном изучении типов оружия, костюмов или других артефактов той или иной эпохи. Современные социальные сети предоставили им уникальную возможность интенсивного обмена и приращения информации. Наверное, этот способ функционирования знаний о прошлом можно назвать типом гражданской науки [13. С. 16–17]. Такой вид деятельности, конечно, способен оказать неоценимую помощь профессиональным исследователям. Но, опять-таки, данное отношение к прошлому может быть охарактеризовано фразой «за деревьями не видеть леса». Болингброк когда-

то критиковал антикваров за неспособность видеть за загромождением фактов то, что принято было называть «смысл истории». Современному антиквару он просто не нужен, поскольку выходит за рамки его интереса.

В-шестых, близкой к вышеописанной деятельности оказывается практика так называемого хисторихакинга. «Этим словом обозначают интерактивные исторические квесты с элементами дополненной реальности». Как отмечают цитируемые нами авторы, хисторихакинг демонстрирует «интенцию на освоение и приватизацию макроистории, включения ее в переработанном виде в пространство личности и создание собственной, субъективной, картины исторической реальности» [13. С. 18]. Видимо, именно такой тип контакта с прошлым характеризуется своеобразной непопулярностью к истории и стиранием граней между прошлым и настоящим, поскольку фрагменты прошлого здесь функционируют лишь как элементы в создаваемых конфигурациях типа игр, которые являются не формами знания, а актуальными практиками.

Ну и наконец, в-седьмых, стоит предполагать, что тезис о флюидности, текучести, открытости форм современной памяти фиксирует еще одну ее сомнительную черту. Вряд ли такая память может стать надежным основанием для формирования идентичности, если мы продолжаем связывать память и идентичность. Недаром ряд авторов полагают, что резоннее говорить не о буме памяти, а о растущих темпах забвения, где доминирование вышеописанных форм памяти только усиливает его.

Этот, возможно, не полный перечень форм интереса к прошлому, которые, видимо, можно назвать «непродуктивными» или «малопродуктивными», конечно, с точки зрения тех задач, которые принято связывать с задачами, которые традиционно возлагаются на память и знание о прошлом. Для их общей характеристики можно воспользоваться мыслью Болингброка, что «истинная и надлежащая цель применения ума состоит в том, чтобы постоянно совершенствовать личную и общественную добродетель» [14. С. 11]. Очевидно, конечно, что малая продуктивность вышеописанных форм памяти заключается не том, что интересы, которыми они конституированы, практически никак не пересекаются с гражданскими ценностями демократического общества (либо даже им противоречат), но и потому, что в силу доминирования таких интересов они не склонны к диалогу.

Внимание к таким формам памяти будет обусловлено требованием повышения рефлексивности, когда ставится вопрос о проработке тех продуктивных целей и задач, которые возлагаются на память о прошлом. Постановка такого вопроса будет тем самым включать в себя определение субъектов и потенциала диалога, с которыми его стоит вести в процессе выработки, реализации и распространения граждански ориентированных задач.

Но вопрос о субъектах диалога имеет еще один аспект. В современной литературе, посвященной теме

памяти, принято обозначать его термином «кураторы» или хранители, смотрители, контролеры над производимой и распространяемой информацией. Кураторство вполне правомерно связывается с официальным контролем над информацией. Общим местом стал тезис, что национальные государства традиционно использовали и используют историю как мощный инструмент самолегитимации. «Передаваемые через общность языка и увековеченные в образах славного коллективного прошлого, такие истории часто связаны с дискурсами об усилении политической власти и поддержании политического влияния» [4. Р. 62]. Поэтому инициированное современными медиаформатами и типами социальных сетей многоголосье принято считать формой сопротивления такому типу кураторства.

Конечно, тезис о том, что сегодня различные индивиды и группы берут сегодня на себя контроль над формированием истории и памяти, размывая тем самым границы между производителем и потребителем, стал общим местом в литературе, поэтому, как полагает исследовательница из Греции Эффи Гази, цифровую эпоху следует представлять как процесс, посредством которого «мы (сообщество профессиональных историков) пытаемся ориентироваться» [15]. Но кажется очевидным, что представшее и вышеописанное многоголосье требует выработки альтернативных форм регулирования информационных потоков. Поэтому термин «навигация», который автор применяет к самосознанию и самоощущению профессионального сообщества, кажется продуктивным для описания приземленного типа взаимодействия профессиональных сообществ с обществом в целом.

Столь же уместным кажется использование распространенного в современной литературе термина «заинтересованный (или вовлеченный) интеллеktуал» для обозначения одного из ключевых субъектов такого взаимодействия. Цитируемый нами автор характеризует такой тип интеллеktуала как того, кто «постоянно интересуется миром и его политикой и искренне желает вмешаться и внести свой вклад и оказать влияние в своей области или области знаний» [15]. Суть такого вмешательства должна заключаться, конечно, не в том, чтобы авторитарным образом навязывать свои «правильные» взгляды «дилетантам». Термин «навигация» собственно указывает более на необходимость выработки и предложения направлений, которые могут помочь другим различать «пригодное для использования» и «одноразовое» прошлое и быть вовлеченными в процессы «продуктивного запоминания» и «творческого забывания» [15]. В том, что касается памяти, приоритетным видится вопрос, что собой может или должна представлять память, призванная формировать идентичность, и что собой может и должна представлять современная идентичность. Ведь очевидно, что существующее положение дел не может быть простым заполнением старой этноцентристской новым, пусть дигитально модифицированным материалом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bond L., Craps St., Vermeulen P. Introduction: Memory on the Move // Memory Unbound: Tracing the Dynamics of Memory Studies. / ed. by Lucy Bond, Stef Craps, Pieter Vermeulen. New York : Berghahn, 2017. P. 1–26.

2. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / пер. с англ. под науч. ред. С. Гавриленко. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 384 с.
3. Huyssen A. Present Pasts: Media, Politics, Amnesia // *Public Culture*. 2000. Vol. 12, № 1. P. 21–38.
4. Koçak D.Ö. Collective Memory and Digital Practices of Remembrance // *Handbuch Soziale Praktiken und Digitale Alltagswelten* / ed. by Heidrun Friese, Gala Rebane, Marcus Nolden, Miriam Schreiter. Springer VS. Wiesbaden, 2020. P. 55–66.
5. Hoskins A. The Restless Past: An Introduction to Digital Media and Memory // *Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition* / ed. by Andrew Hoskins. New York : Routledge, 2018. P. 1–24.
6. Pentzold C., Sommer V. Digital networked media and social memory // *Aurora. Revista de Arte, Mídia e Política*. 2011. № 10. P. 72–85.
7. Reading A. On Media Memory and Digital Media: Six Dynamics of the Global Memory // *On Media Memory Collective Memory in a New Media Age* / Editors: Motti Neiger, Oren Meyers, Eyal Zandberg. Palgrave Macmillan UK, 2011. P. 241–252.
8. Boyd D.M., Ellison N.B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship // *Journal of Computer-Mediated Communication*. 2008. № 13. P. 10–23.
9. Hui Zhao, Jun Liu. Social Media and Collective Remembrance. The debate over China's Great Famine on *weibo* // *China Perspectives* [Online]. 2015. № 1. P. 41–48.
10. Pinchevski A. Archive, Media, Trauma // *On media memory: Collective memory in a new media age* / ed. by Andrew Hoskins, John Sutton. Palgrave Macmillan, 2011. P. 253–264.
11. Landsberg A. Prosthetic memory: the ethics and politics of memory in an age of mass culture // *Memory and popular film* / ed. by Paul Grainge. Manchester University Press, 2003. P. 144–161.
12. Хлевнюк Д.О. Отзыв на дискуссию вокруг отчета по исследованию в рамках доклада «Какое прошлое нужно будущему России?» // *Историческая экспертиза*. 2017. № 3. С. 72–75.
13. Артамонов Д.С., Тихонова С.В. DIY-технологии в конструировании исторической памяти // *Историческая память: травмы прошлого, противоречия настоящего, перспективы будущего* / под ред. В.Н. Сырова : сб. ст. по итогам Всерос. науч. конф. Саратов : Наука, 2018. С. 16–20.
14. Болингброк. Письма об изучении и пользе истории / пер. с англ. С.М. Берковской, А.Т. Парфенова, А.С. Розенцвейга. М. : Наука, 1978. 359 с.
15. Gazi E. Historians and/in the New Media // *The Engaged Historian: Perspectives on the Intersections of Politics, Activism and the Historical Profession (Making Sense of History (V. 37))* / ed. by Stefan Berger. Berghahn Books, 2019.

Статья представлена научной редакцией «Философия» 28 октября 2020 г.

On the Specificity of the Formation, Distribution and Translation of Memory in the Network Space

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2021, 462, 87–95.

DOI: 10.17223/15617793/462/11

Vasily N. Syrov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: narrat59@gmail.com

Keywords: memory; memory “boom”; post-memory; prosthetic memory; digitalization; connective turn; network space; network space.

This study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 18-011-00658.

The article analyzes the main approaches in Russian and foreign literature in the study of the formation and functioning of memory in networks. The duality of interest in the topic of memory is noted. It is shown that, on the one hand, the network space opens up new perspectives for creating and distributing memory. Thus, digital technologies allow the creation, processing, storage and dissemination of information on a historically unprecedented scale, and many people with a wide variety of values, interests and expectations gain access to this information. Consumers may have alternative sources of information and need not use official archives. They can reproduce their personal historical experience by publishing family archives, articulating their own impressions of the past. Consumers get the opportunity for an individualized interpretation of the material. No wonder, many researchers mark the concept “prosumer” as blurring the lines between the consumer and the content producer. As a result, the formation of multidirectional memory and its decentralization are noted. Researchers highlight the abundance, ubiquity and responsiveness of digital media. At the same time, their institutionalized forms are supplemented, shifted and often forced to compete with information produced and disseminated by individual users. Moreover, contacts in and through digital media are not complementary to the usual forms of social interaction, but intertwined with them. On the other hand, the negative sides of the “boom” of memory, which researchers associate with the growth of amnesia intensified by this “boom”, and the deforming of commercialized memory are emphasized. First of all, it should be noted that openness also provided an opportunity to sound to the voices that can hardly be associated with democratic tendencies. This approach will enhance the nostalgic and thus mythologized memory. The role of the consumer context in which the interest in memory is realized is noted. This turns memory into just a type of product that is worth consuming simply to be modern. Also, the specificity of the functioning of communication provided by Internet platforms turns the past into one of the types of broadcast content and one of the tools for increasing the status of the user. It is not without reason that a number of authors believe that it is more reasonable to speak not about the “boom” of memory, but about the growing pace of oblivion, where the dominance of the above-described forms of memory only enhances it. I believe that attention to such forms of memory is necessary to increase reflexivity when discussing the issue of working out those productive goals and tasks that are assigned to the memory of the past.

REFERENCES

1. Bond, L., Craps, St. & Vermeulen, P. (2017) Introduction: Memory on the Move. In: Bond, L., Craps, S. & Vermeulen, P. (eds) *Memory Unbound: Tracing the Dynamics of Memory Studies*. New York: Berghahn. pp. 1–26.
2. Latour, B. (2014) *Peresborka sotsial'nogo: vvedenie v akorno-setevuyu teoriyu* [Reassembling the social: An introduction to actor-network theory]. Translated from English by I. Polonskaya. Moscow: HSE.
3. Huyssen, A. (2000) Present Pasts: Media, Politics, Amnesia. *Public Culture*. 12 (1). pp. 21–38.
4. Koçak, D.Ö. (2020) Collective Memory and Digital Practices of Remembrance. In: Friese, H. et al. (eds) *Handbuch Soziale Praktiken und Digitale Alltagswelten*. Wiesbaden: Springer VS. pp. 55–66.
5. Hoskins, A. (2018) The Restless Past: An Introduction to Digital Media and Memory. In: Hoskins, A. (ed.) *Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition*. New York: Routledge. pp. 1–24.
6. Pentzold, C. & Sommer, V. (2011) Digital networked media and social memory. *Aurora. Revista de Arte, Mídia e Política*. 10. pp. 72–85.

7. Reading, A. (2011) On Media Memory and Digital Media: Six Dynamics of the Global Memory. In: Neiger, M., Meyers, O. & Zanberg, E. (eds) *On Media Memory Collective Memory in a New Media Age*. Palgrave Macmillan UK. pp. 241–252.
8. Boyd, D.M. & Ellison, N.B. (2008) Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*. 13. pp. 10–23.
9. Hui Zhao & Jun Liu. (2015) Social Media and Collective Remembrance. The debate over China's Great Famine on weibo. *China Perspectives* [Online]. 1. pp. 41–48.
10. Pinchevski, A. (2011) Archive, Media, Trauma. In: Hoskins, A. & Sutton, J. (eds) *On media memory: Collective memory in a new media age*. Palgrave Macmillan. pp. 253–264.
11. Landsberg, A. (2003) Prosthetic memory: the ethics and politics of memory in an age of mass culture. In: Grainge, P. (ed.) *Memory and popular film*. Manchester University Press. pp. 144–161.
12. Khlevnyuk, D.O. (2017) Response to the debate around the report “Which Past Does Russian Future Need?”. *Istoricheskaya ekspertiza*. 3. pp. 72–75. (In Russian).
13. Artamonov, D.S. & Tikhonova, S.V. (2018) [DIY-technologies in the construction of historical memory]. *Istoricheskaya pamyat': travmy proshlogo, protivorechiya nastoyashchego, perspektivy budushchego* [Historical memory: Traumas of the past, contradictions of the present, prospects for the future]. Conference Proceedings. Saratov: Nauka. pp. 16–20. (In Russian).
14. Bolingbroke, Henry St. John Viscount 1. (1978) *Pis'ma ob izuchenii i pol'ze istorii* [Letters on the study and use of history]. Translated from English by S.M. Berkovskaya, A.T. Parfenov, A.S. Rozentsveyg. Moscow: Nauka.
15. Gazi, E. (2019) Historians and/in the New Media. In: Berger, S. (ed.) *The Engaged Historian: Perspectives on the Intersections of Politics, Activism and the Historical Profession* (Making Sense of History (V. 37)). Berghahn Books.

Received: 28 October 2020